

Даниил Гранин

## ПОВЕСТЬ ОБ ОДНОМ УЧЕНОМ И ОДНОМ ИМПЕРАТОРЕ

Имя Араго хранилось в моей памяти со школьных лет. Щетина железных опилок вздрагивала, ершилась вокруг проводника... Стрелка намагничивалась внутри соленоида... Красивые, похожие на фокусы опыты, описанные во всех учебниках, опыты-иллюстрации, но без вкуса открытия.

Маятник Фуко, Торричеллиева пустота, правило Ампера, закон Био — Савара, закон Джоуля — Ленца, счетчик Гейгера... — имена эти сами по себе ничего не означали. И Араго тоже оставался прикрепленным к железным опилкам и магнитной стрелке, пока не попалось мне трехтомное его сочинение: «Биографии знаменитых астрономов, физиков и геометров».

В разного рода очерках по истории науки я встречал ссылки на эту книгу.

Историки часто пользовались ею. Она была написана в пятидесятых годах прошлого века, и было странно, почему до сих пор к ней сохраняется интерес. Ее цитировали почти все, в кавычках и без. Если можно судить о ценности работы по количеству ссылок на нее, то книга Араго в истории науки занимала одно из первых мест.

Книга сама служила первоисточником — вот в чем был секрет. Большой частью она состояла из воспоминаний Араго о своих современниках.

Это были его учителя — Лаплас, Пуассон, Гаспар, Монж.

Его друзья — Фурье, Ампер, Френель, Малюс, Гумбольдт.

Он работал с Томасом Юнгом, Жаном Био, Пети.

Он знал Лагранжа, Деламбра, Дальтона, Кювье, Гершеля.

Однако «Биографии» заинтересовали меня не только фактами.

Выход в литературу у больших ученых всегда своеобразен. Автобиографии Алексея Крылова, Чарльза Дарвина, Норберта Винера, книги о науке Освальда, Шкловского, Вавилова, Капицы, Бернала отличаются от прочих мемуаров и научно-популярных работ, пожалуй, прежде всего свободой. Такую же свободу я почувствовал у Араго. Работы его предшественников для него живая плоть, из которой выростали его собственные исследования. Он может судить о великих своих друзьях самостоятельно, ему не надо заручаться чужими авторитетами. При этом ему иногда удавалось решить труднейшую, уже чисто литературную задачу — связать научную характеристику с человеческим характером ученого. Показать, как житейские качества, склонности проникают в систему мышления, сказываются на результатах работы.

Блестящий экспериментатор, Араго знал, как опасно пренебрегать «мелочами». Он описывал, казалось бы, общеизвестные и поэтому малоприметные тогда подробности быта, привычек; спустя столетие его «мелочи» стали драгоценностями. Он был прав: откуда нам знать, какие детали нашей жизни поразят людей следующего века?

Его повествование вызывало действие, которое хочется назвать (ничего лучше я не могу придумать) авторским эффектом, автоэффектом.

Араго писал о других, он сам увлекался и увлекал читателя перипетиями их научных поисков, зигзагами судеб в бурях Великой французской революции, наполеоновских войн, он с блеском специалиста раскрывал разные манеры мышления — все это захватывало, и в то же время возникал совершенно непредусмотренный интерес — к самому автору.

Где-то за фигурами героев, как шорох за стеной, как вычерки в рукописи, появлялась личность автора. Причем появлялась против его воли — вот что было любопытно: он всячески прятал себя и тем самым проступал, обозначался из умолчаний и недомолвок о самом себе.

Временами голос его срывался, бесстрастный тон переходил в крик — он не замечал этого, поглощенный любовью к своим героям. Каждого он любил по-другому. Откуда он брал столько чувств, не уставая восхищаться,

гордиться их успехами, страдая от их слабостей, каждый был неповторим, любого «...можно заместить, но никогда нельзя заменить».

В биографии Ампера он все отдавал Амперу, почти не говоря о собственных опытах, на которых Ампер основал свою теорию.

Он писал о Малюсе, стараясь не упоминать, что, продолжив исследования Малюса, он, Араго, открыл хроматическую поляризацию.

Рассказывая о Френеле, он не выделял собственных опытов, подтвердивших теорию Френеля. Выяснить из биографии Френеля, что Араго вместе с ним установил законы интерференции поляризованных лучей, невозможно. В крайних случаях он неохотно сообщал о себе в неопределенной форме: «один из членов академии», «один из его друзей».

Не так-то часто в науке встречаешь подобную скромность.

Известно, что в спорах о природе света, об электромагнетизме он резко расходился с Пуассоном, Био, Фурье, Гей-Люссаком, но нигде он не позволял себе никаких выпадов. Последующие годы подтвердили правоту Араго, он имел право торжествовать — он этого не делает. Он только свидетель, летописец. Единственное, что он не прячет, это свою влюбленность. Никогда не скажешь, что его научные заслуги не меньше, а иногда и больше тех, о ком он пишет с таким уважением и восторгом.

Порой он проговаривался — не то чтобы о себе, а о том, что мучило его:

«Действительно ли люди, занимающиеся отлично науками, становятся равнодушными ко всему, что другие считают счастьем или бедствием, становятся холодными к переменам в политике и нравственности?»

Я бы тоже мог задать этот вопрос многим из знакомых физиков.

Но не потому ли это мучило его, что ему самому надо было отвечать?

Значит, были в его жизни события, когда приходилось выбирать.

«Для истории человеческого ума полезно доказать,— пишет он,— что люди могут обладать гением в своей специальности и в то же время быть посредственностью в житейских делах».

В конце третьего тома была приложена его автобиография, вернее, короткие заметки о его молодости. Себя он не успел написать. И это жаль, потому что биография его была неожиданной.

Кто знает, когда, чьими стараниями возник образ ученого как человека, далекого от мирских дел, затворника, погруженного в свою непонятную никому науку. Сто, а то и двести лет существовал во всяких романах, повестях, пьесах бородатый сутулый чудак, рассеянный, неуклюжий, наивный, колдующий среди книг, рукописей, приборов. Он, конечно, одержим своей идеей, он страдает, мучается, ищет, но внешне судьба его не примечательна яркими событиями, нет в ней особых приключений, опасностей...

Конечно, таких ученых было немало. Можно вспомнить биографии Фарадея, Павлова, Ньютона, Эйлера, Фурье, Эйнштейна. Но, оказывается, не меньше было и других великих ученых, чья жизнь богата приключениями, и опасностями, и подвигами. Ломоносов, Франклин, Галуа, Карно, Жолио Кюри, Курчатов — список этот можно продолжать, обнаруживая в нем героев войны, революционеров, политиков, дипломатов, путешественников. Никто из них не был любителем приключений. Обстоятельства втягивали их, и жители лабораторий, тихих кабинетов проявляли мужество, находчивость, выносливость. И вот что примечательно — они умудрялись во всех своих превращениях оставаться учеными.

## II

Сначала мне хотелось написать повесть «для среднего возраста», назидательную повесть о невероятных похождениях молодого Франсуа Араго в Испании и Африке...

Она писалась весело и легко, и, может быть, я зря от нее отказался.

Приключений было много, их хватило бы на большой авантурный роман в добрых традициях старой, но нестареющей литературы.

А можно было сделать лихой кинобоевик; актеры играют в алых камзолах, дерутся на шпагах, стреляют из длинноствольных пистолетов...

Там были бы переодевания, побег, рабство, пираты. Главный герой — изящный молодой француз, немножко д'Артаньян, немножко хитроумный Одиссей, влюбчивый, храбрый, любознательный и легкомысленный. Что бы ни случилось, он благополучно выходит из самых отчаянных ситуаций.

Получилась бы занятая, веселая картина, тем более что все кончается как нельзя более счастливо. И незачем доказывать, насколько это исторически соответствует, что все так и было. Никому и в голову не придет сличать факты. Какое мне дело, соблюдал ли историческую правду Александр Дюма в «Трех мушкетерах»? И правильно делал, если не соблюдал.

«Похождения Доминик-Франсуа Араго» — мысленно я ставил картину и прокручивал для себя. Актеры играли превосходно, только все героини были похожи на женщин, которых я любил. А главный герой — на моего приятеля, тренера по волейболу. Ничего в нем не было от научного работника, а тем более от великого ученого. Стреляли пушки, хлопали паруса, рычали львы, и никакой науки...

Появлялся Наполеон, на мгновение, как взмах клинка, и потом где-то он все время присутствовал. Их жизни скрещивались упорно. Наполеон и Араго. Слишком настойчиво — Араго и Наполеон, — и тут я вдруг почувствовал нечто большее, чем приключенческий сюжет.

Была в этом радость сравнения. События располагались подстроено четко, почти симметрично, не надо было ничего сочинять. Оставалось лишь срифмовать факты, обнаружить их скрытый рисунок, соединить звезды, как это когда-то делали астрономы, в фигуру созвездия.

Лучше всего начать с поступления Араго в Политехническую школу. Ему было шестнадцать лет. Он приехал сдавать экзамены в Тулузу, мечтая о военной карьере. Шел 1802 год. Только что был заключен Амьенский мир, и Бонапарт, герой войны, стал героем мира. Слава его манила, казалась такой доступной...

Мальчиком Араго изучал главным образом музыку, фехтование и танцы. Почему-то в его маленьком Перпиньяне считалось, что именно эти предметы должен знать офицер. И еще он учил математику. Она появилась в его жизни случайно и захватила его, как недуг. Он самостоятельно одолевал Эйлера, Лагранжа, Лапласа. У не-

го и в мыслях не было стать математиком, ему просто нравилось *понимать* математику.

Экзамены были трудные. До него отвечал его товарищ и провалился; не мудрено, что экзаменатор Монж предупредил Араго:

— Если вы будете отвечать так же, то мне бесполезно вас спрашивать.

— Мой товарищ знает лучше, чем он отвечал,— возразил Араго. — Я, конечно, тоже могу не удовлетворить вас, хотя надеюсь быть счастливее его.

— Ну, знаете, неподготовленные всегда оправдываются робостью,— сказал Монж, начиная сердиться на само-уверенность этого провинциала из Перпиньяна. — Так вот, лучше не экзаменуйтесь, чтобы не стыдиться.

Араго ответил заносчиво:

— Больше всего я стыжусь вашего подозрения. Спрашивайте, это ваша обязанность!

— Однако, сударь, вы много о себе думаете. Ну что ж, сейчас увидим, имеете ли вы на то право.

Монж начал с геометрии. Араго ответил. Затем пошла алгебра. Араго знал работы Лагранжа «как свои пять пальцев». Щеголяя, он разобрал вариант за вариантом, ответ его продолжался час. Монж помягчел. Хвастливый юнец заинтересовал его, и ради любопытства он решил проверить его сверх программы. Араго простоял у доски два с лишним часа. Монж был в восторге, он поставил имя Араго первым в списке.

Спустя год, при переходе на второй курс, Араго сдавал экзамен знаменитому математику, геометру, академику Лежандру. Он вошел в кабинет Лежандра, когда слушатели выносили упавшего в обморок студента. Лежандр нисколько не был смущен, он сразу же накинулся на Араго:

— Как вас зовут? Араго? Вы не француз?

— Если бы я не был французом, то не стоял бы перед вами.

— Я утверждаю, что тот не француз, кто называется Араго.

— А я утверждаю, что я француз, и хороший француз.

Поскольку странный этот спор зашел в тупик, Лежандр отправил Араго к доске. Однако вскоре он возвратился к прежней теме:

— Вы, без сомнения, родились в департаменте Восточных Пиренеи.

— Да.

— Так и надо было говорить. Вы, значит, испанского происхождения'

— Я не знаю происхождения моих предков, знаю лишь, что я француз, и этого достаточно.

Оба, учитель и ученик, стояли друг друга в своем упрямстве. Взбешенный Лежандр закатил вопрос, требующий двойных интегралов, и тотчас прервал ответ:

— Этот способ вам Лакруа не читал, откуда вы его взяли?

— В одной из ваших работ.

— Ага, вы его выбрали, чтобы мне понравиться?

— Я об этом и не думал. Выбрал я его потому, что он кажется мне лучшим.

— Тогда объясните мне его преимущества, иначе я поставлю плохую отметку, во всяком случае за ваш характер.

Араго объяснил, поигрывая в небрежность и скуку.

Лежандр потребовал определить центр тяжести сферического отрезка.

Араго протяжно зевнул и заметил, что вопрос этот слишком легкий.

Лежандр усложнил вопрос. Араго ответил улыбаясь...

Надо было обладать величием Лежандра, чтобы прервать поединок признанием таланта этого наглейшего из учеников.

По этим выходкам рано о чем-либо судить, пока что это может остаться всего лишь обычной кичливостью самонадеянного, знающего свои способности студента. Но вот совершается поступок, и сразу недавнее поведение обретает смысл. Поступок всегда раскрывает шифр вчерашнего вздора и невнятицы. Молодость Араго тем и привлекательна, что она состояла из поступков.

В 1804 году первый консул Франции надел на себя корону императора.

Студентов Политехнической школы выстроили в актовом зале присягать Наполеону. Один за другим, вместо того чтобы отвечать: «Я клянусь!» — они отвечали: «Я здесь!» Это никак не могло означать повиновения новому императору Франции. А студент Бриссо (запомните эту фамилию!) выкрикнул с полной определенностью;

— Я не желаю присягать на повиновение императору!

Начальник школы приказал арестовать его Араго командовал бригадой. Он отказался выполнить приказ.

Накануне в числе других он отказался поставить подпись под поздравлением императору. Начальник школы принес Наполеону список непокорных студентов.

Первым стояло имя Араго. Первым не по алфавиту, а как первого ученика.

— Я не могу выгнать лучших воспитанников,— сказал Наполеон,— жаль, что они не худшие, оставьте это дело.

Так Наполеон впервые узнал о существовании некоего восемнадцатилетнего республиканца Араго. Он и понятия не имел, что только что монаршая его милость определила судьбу человека, который в последние дни царствования определит его собственную судьбу.

Первый поступок Араго быстро и непредвиденно вызвал за собою следующий, он, в свою очередь, породил другой, и долго еще, не затухая, волна эта бежала по его жизни.

На первый взгляд, автобиография Араго написана не ученым. То есть там ученый и научные занятия — предлог, чтобы поведать удивительную, презабавнейшую одиссею одного молодого человека наполеоновских времен. О самих исследованиях — вскользь, без особой увлеченности, не это главное...

В Испанию Араго отправился в 1806 году по настоянию Лапласа. Незадолго до этого Лаплас добился у правительства ассигнований, чтобы продолжить работы по измерению меридиана.

Мечты об офицерском мундире еще томили Араго, он был разочарован в Наполеоне, но военные подвиги молодого Бонапарта по-прежнему кружили ему голову. Нехотя он согласился на эту скучную командировку, не смея отказа гь Лапласу.

Измерение меридиана началось во времена Великой французской революции. Конвент постановил ввести во Франции метрическую систему мер. Мерой длины предложили метр — одну десятиmillionную долю четверти длины меридиана. Но для этого надо было эту четверть измерить. Была послана экспедиция, Деламбр во главе первой группы поехал в Дюнкерк, Пьер Мешен стал двигаться ему навстречу от Барселоны. Война прервала

работу, и двадцатилетний Араго, назначенный вместе с Жаном Био комиссаром Комиссии долгот, должен был продолжить измерения меридиана дальше из Каталонии.

Шесть месяцев он провел па метеостанции в пустынных горах. Изредка он вырывался в Валенсию, на ярмарку или к землякам.

Стремительные романы с местными красотками, дуэли из-за них и трактирные драки занимали его больше, чем измерения. В горах бродили отряды испанских партизан и разбойничьи шайки. Они нападали на купцов, на путешественников, на геодезистов.

Однажды Араго спас предводителя всех разбойников округа. Он дал ему приют в своей горной хижине и от него получил за это право беспрепятственно ходить в горах от станции к станции в любое время. Он был единственный, кто ночью шел не таясь, размахивая фонарем, распевая песни. Стоило ему назвать свое имя, как его тотчас отпускали. Гарантия действовала.

Никто в округе — крестьяне, монахи, даже горожане — не понимал, чем заняты эти странные люди, о чем сигналият они желтыми огнями с вышек, что измеряют диковинными кругами, трубами, угломерами. Партия геодезистов пробивалась напрямик по глухим тропам...

Шли королевские войска, преследуя разбойников, гремели выстрелы, пастухи пасли стада коз, в городах еще хозяйничала инквизиция, по улицам Валенсии везли на осле колдунью, вывалянную в черных перьях, на перекрестке дорог лежали тела четвертованных разбойников...

А Франсуа Араго с товарищами безостановочно, день за днем, шагал, вымеряя свой незримый меридиан, утешаясь смиренной гордостью чернорабочего науки.

Линии геодезических треугольников пересекали провинции, страны, границы, скрепляя навсегда единым обручем Землю, уточняя фигуру земного шара, маленькой, сплюснутой в полюсах планеты.

Работа была безвестной, безымянной — может быть, первая работа, которая соединила ученых разных стран и ученых разных поколений.

Давно уже умер Борда — ученый, воин и моряк, затем, после восьмилетнего пути, умер на этом меридиане Пьер Мешен, приходили другие, продолжая этот путь, верста за верстой, мимо монастырей, селений, через войны, суеверия,

лихорадки, обвалы, смены правительств, восстания.

Войска Мюрата вступили в Мадрид, нещадно расправляясь с патриотами. Провинции поднялись против интервентов. Крестьяне, ремесленники вооружались, готовясь к отпору. Испанские патриоты бросили вызов Наполеону — началась герилья, ожесточенная долгая народная борьба за независимость.

Био, заболев, вскоре уехал домой; теперь, когда Испанию охватила гражданская война, Араго тоже имел полное право собрать свои инструменты и вернуться во Францию. Вместо этого он отправился на Мальорку заканчивать измерения. Ему хотелось измерить «одним треугольником дугу параллели в полтора градуса». Мальорка была для него не центром восстания, а точкой, которую надо было соединить геодезически с Ивзой и Ферментерою. Что поделывать, таков был путь меридиана, не Араго его выбирал.

С точки зрения здравомыслящего человека, меридиан не испортился бы, если его покинуть на годик. Никуда он не делся бы, и даже партизаны не могли его повредить.

Однако в науке здравый смысл не такая уж ценность.

Сам Араго, конечно, считал себя весьма здравомыслящим человеком: попадая в очередную передрыгу, он действовал хитро, находчиво, гибко; вопрос лишь в том, чего ради он постоянно из одной передрыги попадал в другую, с какой стати он отправился в самое пекло, где его не ждали ни награды, ни слава, куда ему никто не приказывал лезть?

В столице Мальорки на главной площади Пальмы неделю горел огромный костер, толпа заталкивала в огонь кареты дворян, сторонников Годоя, кричала: «Долой временщика! Долой французов! Смерть французам!»

Араго преспокойно устанавливал свои приборы на метеостанции над портом. Сочувствуя испанцам, он полагал, что их угрозы к нему не относятся. Пусть Наполеон воюет, сколько ему вздумается, каждый занимается своим делом, он, Араго, вместе со своими друзьями испанскими комиссарами Родригесом и Шэтем временно выяснит, насколько Земля сжата у полюсов...

Поскольку испанцы не знали ничего о его сочувствии, а сжатие у полюсов им тоже казалось делом не экстренным, то они заключили, что француз, который сигналил огнями на виду французской

эскадры,— обыкновенный шпион.

Рассуждения их были вполне логичны. И когда разъяренная толпа подступила к метеостанции, у Араго хватило здравого смысла не рассказывать им об эллиптических функциях, а переодеться крестьянином. Отлично владея мальоркским наречием, он незаметно смешался с повстанцами. Он подзадоривал толпу не церемониться с французом. Ему нравилась игра с опасностью, балансирующая пробежка по краю жизни. И вообще, если б не его работа, он не прочь был бы остаться с повстанцами. Не следует думать, что ученые так уж любят свою работу. Большой частью они рады отделаться от нее — и не могут. Почему так — то ли это какая-то хворь, то ли врожденное устройство души — неизвестно. В самом деле, что заставляет красивого ловкого парня, владеющего шпагой, быстрого на язык, просиживать годами над приборами, уточняя какую-нибудь четвертую цифру после запятой, вместо того чтобы стать купцом, пиратом, офицером, наконец, императором!

Ночью Араго пробрался в порт на корабль экспедиции. Капитан отказался укрыть его. Тем временем преследователи обнаружили беглеца, они заняли причал. Араго с несколькими верными матросами спрыгнул в шлюпку и поплыл к Бельверской цитадели. За ним гнались на лодках. Толпа бежала вдоль берега. В схватке ему располосовали бедро, чудом ему удалось забраться в крепость, укрыться там в тюремной камере. Он смеялся: это был побег наоборот, побег в тюрьму. Он стал арестантом и был спасен. Спасен для новых опасностей. Какой-то фанатичный монах потребовал отравить заключенного. С монахами у Араго постоянно возникали нелады. Большой частью его интерес к духовенству кончался тем, что его порывались убить или отравить.

Иногда, со стороны, его поведение выглядело более чем странным. Представьте себе следующую сцену. Вместе с Био он является к архиепископу Валенсии. Им надо заручиться содействием церкви, чтобы получить помощь лестною населения. Аудиенция проходит благополучно, архиепископ обещает покровительство, Био и французский консул выходят, совершая при этом непростительную небрежность, — они забывают поцеловать руку монсеньеру. Араго почему-то стоит оцепенелый и безучастный.

Чрезвычайно рассерженный архиепископ сует ему руку прямо в зубы, даже не руку, кулак. Грубость нисколько не возмущает Араго, наоборот, с нежностью, зачарованно он склоняется над волосатым кулаком архиепископа.

Попробуйте разгадать эту сценку, понять, что тут произошло. А между тем все дело заключалось, оказывается, в перстне. С первой минуты Араго заинтересовался перстнем архиепископа и стал прикидывать, какие оптические опыты можно поставить с великолепным большим аквамаринном, сверкающим перед его глазами. С этими учеными никогда не угадаешь, что может взбрести им в голову.

### III

В тюрьме он прочел в газетах душераздирающее описание жизни молодого астронома Араго, покорно позволившего себя повесить.

Многообещающий поворот, конец первой части и начало новых приключений Араго.

Он не пишет формул на стене своей камеры, не пересыпает свою речь научными словечками. У него иные заботы. Самые элементарные. Ему надо бежать из крепости. С помощью своего друга Родригеса он, ловко обработав губернатора, бежит на рыбацьем барке в Алжир.

Итак, барк подан, впереди Средиземное море. Астронома Араго больше нет, не существует, он казнен, есть таинственный незнакомец и дальше на выбор — сражение с корсарами, захват фрегата английского, испанского, любого; можно возглавить отряды испанских партизан, стать грозой наполеоновских войск — «неуловимым Доминик-Франсуа», — полководцем, диктатором, ц представляете — время от времени Парижская академия получает подписанные инициалами «Ф. А.» записки. Чтение их производит переполох. Открытия в метеорологии, электричестве, оптике следуют одно за другим. Кто он, гениальный автор?..

Скорее всего он вынужден будет оставить науку, почти как Наполеон.

В игре этих замыслов — несостоявшиеся варианты его судьбы. У каждого человека есть несколько несбывшихся биографий, набор случайно несостоявшихся судеб.

Пока барк медлил с отплытием, сюжеты ветвились один заманчивее другого. Араго в этот явно неподходящий момент грузил на барк свои приборы. Не знаю, каким образом друзья умудрились утащить их со станции, и вот теперь он грузил ящики со всякими треногами, барометрами, медными кругами, угломерами. Самым что ни на есть банальным приемом показывал он свою преданность пауке. Словно какой-нибудь служака-лаборант. С этими учеными никогда не знаешь... Кажется, характер, самой природой назначенный для приключений: лихой, фатоватый, мушкетер, которому море по колено, созданный для поединков, подвигов; так нет, обязательно испортит приключение, нарушит темп и вылезет нудный педант, готовый рисковать жизнью не ради возлюбленной пли власти, а ради каких-то железяк, годных на то, чтобы измерить угол чуть поточнее...

С разными приключениями, которые так и льнули к Араго, добрался он до Алжира. Раздобыв фальшивый паспорт, он наконец сел на корабль и отправился в Марс-сель. Трое суток плавания, вот уже Лионский залив, конец путешествия, а там отчет в Комиссии долгот и можно вернуться в обсерваторию, а можно уйти в армию, надеть мундир, саблю... Увы, в самую последнюю минуту их настигает испанский корсар, берет в плен, тащит назад и доставляет в Розас.

Чиновники во главе с судьей должны были установить личность пленных. Араго пришлось проявить все свое искусство, чтобы замести следы. Допрос напоминал ему привычную обстановку экзамена, с той лишь разницей, что неудачный ответ означал расстрел.

— Кто вы?

— Бедный торгаш.

— Откуда?

— Из страны, где вы никогда не были.

— Откуда?

— Я из Швеката.

— Нет, вы испанец, испанец из Валенсии, это слышно по вашему выговору.

— Да? А может, я из Ивзы?

— Попались! — сказал судья. — Вот здесь солдат из Ивзы, поговорите с ним.

Эффектная пауза. Толпа замерла, предвкушая развязку. И вдруг Араго чистым высоким голосом запел

песню пастухов Ивзы. «Бе-бе-бе», — припевал он, бляя козой и прищелкивая по-пастушьи. Где, когда успел он подхватить это характерное наречие? Солдат из Ивзы со слезами восторга поклялся, что перед ним земляк. Но Араго, хохоча, уже доказывал, что он француз. И бывший офицер бурбонского полка после нескольких фраз Араго тоже подтверждал — француз. Ничего подобного — перед судьей уже был не француз, а сын какого-то мотарского трактирщика. А через минуту он превратился в комедианта-кукольника из Лериды.

Замороженный судья хватался за голову, толпа гоготала. Араго разыгрывал представление у старой мельницы близ Фугераса. Чем только не наделила его природа — он жонглировал своими способностями, полный молодых сил и дерзости. Кто он — иллюзионист, актер, чревоушитель? Сейчас он начнет показывать фокусы, он превратится в арабского шейха, в мага-волшебника, предсказателя судеб...

Будь он вымышленный герой, он сорвался бы по касательной, вознесясь над знаменитыми авантюристами прошлого, вплоть до Казановы и Калиостро, поскольку он обладал еще разными научными сведениями. Но в том-то и секрет его молодости, что всякий раз какая-то центростремительная сила удерживала его.

В Алжире было полно испанских офицеров, в любую минуту беглеца могли опознать и отправить на казнь.

Уговорив часового, Араго передал письмо капитану английского корабля, стоящего на рейде: «Вы можете меня вытребовать, потому что я имею английский паспорт. Если этот акт будет для вас труден, то, сделайте милость, возьмите у меня рукописи и отошлите их в Лондонское Королевское общество».

Вот что его мучает. Рукописи. Хоть бы переправить в Европу результаты измерений. Хотя бы в Англию. Наплевать, что идет война и Англия — заклятый враг Наполеона. Измерения сделаны не для англичан и не для Наполеона. Важно, что с их помощью теперь можно вычислить меридиан и сжатие Земли у полюсов и сравнить с тем результатом, который Лаплас добыл теоретически.

Капитан пришел. Они переговаривались, стоя по краям карантинной площадки, огороженной канатами. Вытребовать Араго он не мог. Ну а рукописи? Взять с собою Рукописи и передать в Королевское общество?

Араго вы-

тащил из-под рубашки грязную связку листов, испещренных цифрами. То, что он спас всяческими хитростями. Капитан рассердился. Он полагал по меньшей мере увидеть солидный фолиант в сафьяновом переплете. Было бы из-за чего рисковать. Какую ценность могла иметь пачка мятых бумаг, которой размахивал этот оборванец!

Английский капитан Джордж Эйре ничем не отличался от многих своих земляков, любивших видеть науку в строгих мантиях оксфордских докторов, среди громоздких приборов, обязательно непонятных и дорогих.

Что оставалось Араго? Бежать. Тщательно изучив местность, он ночью заполз в кустарник и оттуда благополучно пересек линию часовых. В это время в лагере поднялся шум. Вспыхнули факелы. Его хватились. Он метнулся назад, притворно потягиваясь, вошел в барак. Если бы его поймали, ему грозила верная смерть. Оказалось, что его спутники, взятые с ним в плен турки, арабы, евреи, искали своего защитника и спасителя, они боялись погибнуть без него. Он увидел их отчаяние и остался.

Пропотевшая рукопись вновь легла под солому, она снова была в плену, и он был прикован к ней, как каторжник к пушечному ядру.

Пленников перевели в каземат, оттуда в форт, оттуда в темный подвал на понтоне. Им давали сухой хлеб и горстку рисовой крупы, которую негде было варить. Иногда их выпускали в город. Заросший бородой, в лохмотьях, Араго бродил по кривым улочкам и рыжим базарам Паламоса, выпрашивая подавание.

Во Франции его давно считали погибшим. Спустя двадцать лет Араго вспоминал о своих скитаниях с легким удивлением и завистью к себе, молодому, выносливому.

Рукопись, приборы... Он упоминает о них нехотя, они ему порядком осточертели. Кажется, что если бы он переправил рукопись в Англию, во Францию, то взмыл бы, свободный, легкий, ринулся бы в политику, в войну. Наука не могла поглотить весь его темперамент и энергию.

Тяжелее всего пришлось, когда пленных поместили в маленькую часовню. Каждое утро приносили из госпиталя умерших. Ночью, когда Араго лежал рядом с холодными телами, он мысленно возвращался в свое прошлое, ему хотелось проверить неизбежность траектории, которая привела его сюда. Ночь сладко пахла трупным тлением. Покойники все казались

одинаковыми. Только раны

были у них разные. Они умирали от французских штыков, французских пуль и ядер. Араго привык к виду смерти, но тут ее было слишком много. Иодистый привкус ее сводил скулы. Его собственная смерть переминалась с ноги на ногу за порогом вместе с караульными крестьянами. Всякий раз, когда открывались кованые двери, можно было ждать, что его поведут на казнь. Обидно было умереть без имени, без вины, ни за что ни про что. В душе его не было злобы к партизанам. Их считали фанатиками, но он-то знал праведность их ненависти к французам. Европа впервые увидела такое отчаянное сопротивление целого народа. Ему было стыдно за Францию.

Лунный свет сквозь узкие витражи пестро расцвечивал лица покойников. Бегали крысы. Сонно вскрикивали обезьяны. Неукоснительно прямая линия меридиана соединяла эту часовню с Парижем и нынешнюю жизнь Араго с его прежней. Сквозь все случайности и пелепости пробивалась, в сущности, жестокая связь. Как будто он тронул цепь, и движение отозвалось в том дальнем, первом звене его поступка, в актовом зале Политехнической школы. Сперва он отказался арестовать Бриссо, потом спустя несколько месяцев Бриссо, уже исключенный из школы, пришел не к кому другому, а именно к Араго, сказать, что он хочет освободить Францию от тирана. С инженерной тщательностью он разработал план покушения на Наполеона. Долго тренировался в стрельбе из пистолета. Нанял маленькую комнату на площади Карусель. Окно ее выходило на место, где Наполеон обычно устраивал смотр гвардии. Бриссо стрелял без промаха. Ничто не могло поколебать его руки и намерений.

Откровенность Бриссо поставила Араго в отчаянное положение. Донести он не мог, об этом он и думать не хотел. Но и быть соучастником убийства, а это было убийство, он тоже не мог.

Несколько недель он потратил, уговаривая Бриссо отказаться от замысла.

Прав ли он был, спасая жизнь Наполеона? Наполеон виноват в войне с Испанией. Война сделала Араго пленником... Не пожинает ли он сам ныне плоды посеянного им? Поразительное, конечно, сцепление обстоятельств, которое привело его сюда, но, глядя назад, в прошлое, он мог отыскать неизбежность, похожую на возмездие. Все же оно существует, возмездие, должно существовать. Где-

то в начале пути совершается выбор, казалось бы, незначительный, и вот через годы вдруг предъявляет счет. Вот теперь, испытав на своей шкуре несправедливость этой войны, увидев сотни невинно погибших, остановил бы он Бриссо?..

К ноябрю 1808 года по ходатайству алжирского дея Араго получил свободу и отплыл в Марсель.

На сей раз уже показались сахарно-белые дома на холмах Марсея, когда налетел шквал, корабль погнало на юг и спустя неделю выбросило на берега Африки. Все началось сызнова. Араго бредет с караваном опять в Алжир, через селения, охваченные междоусобной войной.

Вокруг костров бродили львы. Араго стрелял в жаркую черноту. В одном из селений его узнали, он избежал смерти, прикинувшись паломником, готовым принять мусульманскую веру. Он творил намаз по всем правилам Корана, а под рубахой у него топорщилась все та же связка рукописей — седьмая часть четверти меридиана, дуга, измеренная им с точностью, доселе недоступной, земной эллипсоид, который он тащит за пазухой...

Бродячий Атлант однообразен, как будто обречен спасать и спастись, приключения давно превратились в испытания, ему давно следовало погибнуть, сдаться, а он? Все еще жив и упрямо волочит за собою приборы и затрепанную рукопись.

В Алжире выяснилось, что дей, отпустивший их, казнен, а новый дей объявил войну Франции. Согласно правилам, Араго внесли в список невольников.

Новые приключения ничего не могли изменить. Они лишь нанизывались на растущее упорство Араго. Прошло несколько месяцев, и он опять на корабле и в третий раз плывет в Марсель.

Перед родным берегом английский фрегат чуть было не захватил их в плен. Судьба соревновалась с Араго в настойчивости, и вдруг в последний момент не то чтобы сжалилась, она сдалась, признала себя побежденной — стало ясно, что сколько ни отбрасывать этого человека назад, он все равно будет возвращаться.

Препятствия не превратили его в одержимого. Слава богу, его не причислишь к лику маньяков науки, поглощенных лишь своей идеей. Достаточно взглянуть, чем он

занимался, сидя в каюте корабля. Приводил в порядок рукописи? Готовил вычисления? Научный отчет? Как бы не так! Он наслаждался захваченной французами почтой испанских горожан с Мальорки. Он знал там многих. Без стеснения он вскрывал письма известных ему девиц, большинство упоминали о нем весьма лестно и откровенно обсуждали слабости его соперников. Ему исполнилось двадцать три года, и он раздувался от гордости. Это чтение было поинтереснее научных статей.

Воскрешение Араго произвело во Франции сенсацию, кандидатуру его немедленно предложили в Академию.

За день до выборов Лаплас позвал к себе Араго и сказал:

— Напишите письмо в Академию, что вы желаете избираться только после открытия вакансии для Пуассона.

Он считал, что Пуассон, учитель Араго по Политехнической школе, должен быть избран раньше. Пуассон был учеником Лапласа, его гордостью. Лаплас считал Пуассона лучшим математиком. Может, он и был прав, и, что еще важнее, он не мог быть неправым, он был властителем Академии, он был гордостью Франции и любимцем Наполеона. Спорить с ним было немыслимо. Но Араго был весел и счастлив, секрет его состоял в том, что он не рвался в Академию. Мундир академика прельщал его меньше, чем офицерский.

— Гумбольдт предлагает мне ехать в экспедицию на Тибет, — сказал Араго Лапласу, — там звание академика не поможет. Так что я могу и подождать. Но я бы не хотел поступить нетактично в отношении Академии. На мое письмо мне будут вправе сказать: откуда вы знаете, что о вас думают? Вы отказываетесь от того, что вам не предлагают.

Он отклонил просьбу Лапласа. Почтительно и твердо. Несогласие с Лапласом было дерзостью. Граф Лаплас, сенатор Лаплас возмутился. Достаточно ли вообще у этого юнца заслуг, чтобы быть избранным, не слишком ли он молод?

Если бы в эту минуту прокрутить перед Лапласом сцену тридцатилетней давности... Чтобы он увидел и услышал себя после того, как его забаллотировали в Академию. Он был так же самоуверен, кичлив, как Араго, ему тоже было двадцать три года, и ему говорили те же слова, и как он негодовал! Но сейчас он об этом не по-

мнил. Он начисто забыл — вот как удобно устроена у человека память. Она стирает все, что неприятно.

Что другое, а этот упрек задел Араго за живое. Сам он мог называть себя лоботрясом и неудачником. Он считал, что ничего не успел, потратил впустую три года в Испании, карабкаясь на тонконогих мулах по тропам Кабилии, пробиваясь сквозь воюющую страну, сидя в тюрьмах. Но то, что он не сделал, — это его забота, а ваша, милостивые государи, — изумляться тому, сколько он сделал. Самомнения у него хватало. И все же не без страха он попробовал подсчитать:

Вместе с Био он сделал несколько работ по атмосферной рефракции.

Провел наблюдения для проверки законов качания Луны.

Вычислил орбиты многих комет.

Определил коэффициент для барометрической формулы.

Изучил преломление света в различных газах.

Там, в Испании, он впервые применил турмалиновые пластинки для определения преломления света в воде.

Окончил самую большую триангуляцию для продолжения парижского меридиана.

Неплохо. Он сам не мог понять, когда он все это успел.

Осторожный, расчетливый, предусмотрительный Лаплас, пожалуй, впервые терпел поражение. Ему осмелились возражать и Био, и Лежандр, и Галле. За Араго вступился и Лагранж, а затем и Делаамбр.

Араго выбрали почти единогласно.

Французских академиков пленило его «...мужество в самых затруднительных обстоятельствах, которое способствовало окончанию наблюдений и спасло инструменты и полученные результаты».

В конце концов и Лаплас подал голос за избрание Араго.

Получив зеленый мундир, расшитый золотом, Араго явился на прием к императору во дворец Тюильри.

Таков был новый порядок. Наполеон лично знакомился с избранными академиками.

Церемония имела разработанный ритуал. Возвращаясь с мессы, Наполеон в сопровождении своих маршалов и министров производил смотр творческим силам империи.

Шеренги писателей, артистов, художников, ученых выстраивались под присмотром руководителей Академии, секретарей отделений. Желющие могли преподнести императору лучшие свои работы. Остальные так или иначе старались быть замеченными, удостоенными, упомянутыми.

Гений императора был всеобъемлющ — он с успехом наставлял архитекторов, давал указания художникам.

«Не бородавка на носу придает сходство,— учил он, и слова его повторялись, как откровение. — Никто не осведомляется, похожи ли портреты великих людей: их гений — вот что должно быть изображено».

Наиболее сведущим Наполеон считал себя в естественных науках. В молодости, слушая лекции Лапласа и Монжа, он мечтал стать ученым. Он даже написал трактат о внешней баллистике. И как знать...

Приятно было погрузиться о несостоявшейся научной карьере. Наполеон писал Лапласу: «Весьма сожалею, что сила обстоятельств удалила меня от научного поприща». Не будь он императором, он, конечно, занимался бы математикой или артиллерией, а может, астрономией, но, увы, приходилось быть императором.

«Как только у меня будут шесть свободных месяцев, я употреблю их на изучение вашего прекрасного творения»,— обещал Лапласу, автору «Небесной механики», знаток механики земной. Это «шесть месяцев» должно было всем показать уважение к сложности труда Лапласа. Шутка ли — потратить полгода своей императорской жизни, лишь бы насладиться творением Лапласа. Вот до чего доходила его любовь к науке. К счастью, этого не случилось, но стало ясно, какими способностями он обладал, ибо надо быть незаурядным математиком, механиком, чтобы разобраться в трудах Лапласа. Недаром молодого генерала Бонапарта избрали вице-президентом Египетского института наук и искусства и членом по математическому отделению. Пожелай он — и был бы президентом, но он решительно отказался, предложив президентом великого геометра и своего друга Гаспара Монжа. Предложение его после приятного сопротивления было принято. Монж — президент, гражданин Бонапарт — вице-президент и гражданин Фурье, великий математик и теплотехник,— неперенный секре-

тарь. Так что гражданин Бонапарт по своему ученому весу располагался где-то между Монжем и Фурье.

Французская революция подняла авторитет ученых.

Молодой, еще стройный, прямо-таки худенький генерал Бонапарт искал их поддержки. Он был полон почтения к своим недавним наставникам, он доверял им, советовался с ними — скромный солдат, «самый штатский среди военных», казалось, он мечтает создать власть ученых и политиков, инженеров и военных.

Ему верили. Эти математики, астрономы, механики всегда верят в разумные вещи. Они считали, что если ученые бескорыстны, преданы родине, талантливы, то, следовательно, они могут заниматься государственными делами. Эти чудачки всегда рассматривают идеальную схему. И хотя Наполеон, став диктатором, постарался освободить их от всяких надежд, они долго еще продолжали держаться за свою утопию. И Араго тоже был убежден, что государством должны управлять ученые. Культ науки у него переходил в культ ученых. Ученые бескорыстны, образованны. Стремление к истине, свойственное естествоиспытателям, оздоровит государственную машину. Но как раз тут научное мышление изменило ему, он не сумел, а может, не желал понять того, что происходило у него перед глазами. Хотя бы с его учителем Лапласом. А пример был поучительный.

Наполеон назначил Лапласа министром внутренних дел. И величайший правитель Франции, и величайший ученый Франции поначалу были довольны. Однако веко-ре выяснилось, что министра из Лапласа не вышло. К счастью или к сожалению, но не вышло. Взялся он за дело со всем усердием исследователя. Пытался вести управление по математическим расчетам. Формализировать аппарат. Внедрить математические методы. Но оказалось, что администрация новой империи работала по иным законам. Канцелярские интриги не поддавались расчетам. Интересы чиновников были посильнее формул, эти интересы исходили не из целесообразности и, уж во всяком случае, не из интересов страны. Лаплас заслужил славу неудавшегося министра. По своему характеру он и в самом деле не мог оставаться министром. Но неслыханный его провал примечательнее успехов некоторых прославленных наполеоновских министров.

Став императором, Наполеон стал мудрее, образованнее генерала Бонапарта. Император все знал сам и не нуждался в советах астрономов или ботаников. Он был достаточно умен, чтобы не отталкивать от себя Академию, он ласкал ее, награждал и щелкал по носу, выбивая вольнодумство.

На торжественном заседании, посвященном десятилетию его правления, секретари отделений зачитали обзоры успехов наук, обязанных заботам императора.

Зал был переполнен. Академики соревновались в эпитетах и сравнениях. «Величайший гений...», «Праздник природы...», «Редчайшее сочетание...»

«Бог, сотворив Наполеона, почувствовал необходимость в отдыхе!»

«Наконец-то человечество получило достойную награду».

...Увековеченный в скромном сером сюртуке, император шел, сопровождаемый свитой, сиянием звезд, лент, золотого шитья. Араго смотрел, не чувствуя в себе волнения и удивляясь прежним мечтам своим.

Наполеон изменился, обрюзг, отяжелел. Еще больше преобразились люди, окружавшие его. За три года отсутствия Араго исчезли остатки якобинских замашек. Каждое слово императора ловили, как наивысшую истину, преувеличенно ахали, преувеличенно смеялись, истово замирали от восторга. Лица «бессмертных», знакомые Араго по портретам, потно блестели от страха и обожания. Здесь взвешивался малейший жест, учитывались интонация, молчание.

Бархат, толстые золотые эполеты, бриллианты, напомаженные склоненные головы... Только что Араго так же подставлял голову обезьянам, которые ловко истребляли вшей в его волосах, и только что он протягивал холщовую торбу, выпрашивая банан и кусок хлеба.

Наполеон остановился перед ним.

Испания избавила от многих иллюзий, и все же Араго чувствовал силу, исходящую от этого человека, она действовала вопреки воле и разуму.

— Вы очень молоды,— сказал Наполеон. — Как вас зовут?

Один из академических чиновников опередил Араго со стремительностью личной охраны:

— Его зовут Араго!

— Чем вы занимались?

Другой чиновник, а может, то был ученый, Араго не успел посмотреть, проворно ответил:

— Астрономией!

— И что вы сделали в этой науке?

Тогда первый, перехватывая, крикнул:

— Он измерил дугу меридиана в Испании!

Араго восхитила шустрость этих молодцов. Они знали о нем наверняка все. Император, кивнув, отошел, решив, очевидно, что перед ним немой или идиот, обалдевший от робости и восторга.

Он не успел сказать Наполеону ни одного слова. Да и о чем? Что следует говорить императорам? Бесстрашные истины, которые нравятся школьным историкам? Но надо, чтобы это еще нравилось и императору. Или, во всяком случае, чтобы не очень ему не нравилось.

С каким чувством он ехал во дворец? После избрания он считал себя героем — он спас не только ценные инструменты и рукописи, он сохранил результаты многолетних измерений, стоявших Франции огромных средств. Строились станции в глухих горах Каталонии, Арагоны, Валенсии. Караваны мулов перетаскивали по горным тропам оборудование. Ураганы опрокидывали вышки... Правда, на фоне дворцовой роскоши эти суммы съезжились. И работа его вряд ли могла поразить придворных сановников. Другое дело, если бы он обнаружил новую планету, открыл всемирное тяготение или в крайнем случае изобрел динамит. Они напоминали того английского капитана — Джорджа Эйре. Вереница Джорджей, милых, сочувственно удивленных: стоило ли так трястись над этой пачкой грязных листков? Что от них останется? Лишь несколько цифр в справочнике.

Свита озидала с жалостью недотепу-новичка, эту простофилю, который упускал счастливый случай вернуть что-нибудь приятное и тем удержаться в памяти императора.

Он улыбался.

— Ваше величество,— мог бы он сказать,— кроме меридиана, я еще кое-что сделал.

— Что же? — спросил бы Наполеон.

— Я спас вашу жизнь.

В его распоряжении оставались еще две или три секунды. Наполеон был рядом. Можно было сказать:

— Вы изволили заметить, ваше величество, что я очень молод, но это не помешало мне еще шесть лет назад отвести руку убийцы. Бриссо уже умер, — добавил бы он, — теперь я могу назвать его имя.

Кто еще в этом зале мог похвастаться чем-либо похожим? В запасе у него были и новые подзорные трубы, и разные сведения, полезные для войны. Несколько слов — и положение его могло круто измениться. Всего один шаг отделял его от обладающих славой, богатством, властью. Ничего не стоило ему очутиться среди них. Привычная отчаянность и дерзость подмывали его. Было так легко сделать этот шаг. За ним мерещились бурная пена славы и разные прелести столичной жизни, по которой он стосковался, дворцовые балы, орден Почетного легиона, покровительство монарха, карьера, карьера...

Молча он смотрел на круглую спину Наполеона.

Может быть, он вспомнил ночные трупы в часовне.

Что-то с ним происходило.

Может, он не хотел отойти в сторону от меридиана.

Слишком долго он шел, сверяя свой путь с меридианом.

У меридиана были свои законы. Участок, измеренный Борда, давно слился с отрезком, измеренным Кассини, а тот — с отрезком, измеренным Мешеном, теперь к ним добавится дуга, измеренная Араго.

На меридиане не пишут имен, на нем не будут обозначены три года жизни Араго, ея скитания, свист пуль, кровь, чума, там будут лишь градусы, минуты, секунды.

Наполеон уходил, не оглядываясь. Еще шесть лет было до того дня, когда ему придется долго ждать ответа Араго.

История — лучший драматург, она позволяет себе любые условности, симметрию почти геометрическую. Шесть лет назад и шесть лет вперед, а посередине — Араго в зале Тюильри...

## IV

Это случилось после Ватерлоо. Наполеон приехал в Париж 21 июня 1815 года. Палата непрерывно заседала, предместья бушевали, готовые стать на защиту императора: «Долой палату! Не нужно отречения! Император и оборона!» Но для Наполеона все было кончено. 22 июня он подписал отречение и удалился в Мальмезон.

Гаспар Монж — академик, создатель начертательной геометрии — был один из немногих, кто не оставил в эти дни Наполеона. Ежедневно он являлся в опустелый дворец к своему кумиру. Двадцатилетняя дружба связывала знаменитого геометра с императором.

Монж заслуживал полного доверия, и однажды Наполеон открыл ему свой план, наилучший выход из создавшегося положения, последнее произведение великого стратега — уехать в Америку, не ради спасения своей свободы, а для того, чтобы начать новую, достойную наполеоновского гения деятельность.

— Бездействие для меня убийственно, — говорил он Монжу. — Судьба отняла у меня надежду когда-нибудь возвратиться к моей армии.

Что же ему оставалось, чем еще он мог заполнить свою душу, ум? Имелось ли что-либо в этом мире, равное славе завоевателя, вершителя судеб народов и государств? Конечно, нет. Но была наука — его первая, молодая любовь. Ему вдруг показалось, что он и в самом деле любил ее и втайне был верен ей. Пожалуй, наука, только она может вернуть ему душевное равновесие, удовлетворить его честолюбие.

Когда-то, еще будучи первым консулом, он сказал академику Ламерсье, который отказался от должности государственного советника:

— Вы хотите полностью принадлежать науке? О, как я понимаю вас! Если б я не сделался военачальником и орудием судьбы великого народа, неужели я стал бы бегать по департаментам и салонам, чтобы добиться портфеля министра! Потерять независимость и самого себя — нет! Я занялся бы наукой, точными науками! Я вступил бы на дорогу Галилея и Ньютона. И поверь те, я всегда добивался того, чего хотел, в любых самых великих походах и предприятиях, так же было бы и в

науке. Я прославился бы не меньше своими открытиями...

Ему внимали с умилением. Он и сам верил в универсальность своего гения. Легенда была удобной — в любой области он добился бы своего. Не властолюбец, не карьерист, он жертвовал своим призванием ради славы Франции.

При всяком удобном случае он разукрашивал этот образ, пока сам не уверился в своем неосуществленном таланте. В Америке он намерен был вести научные экспедиции, обследовать весь Новый Свет — от Канады до мыса Горн. С истинно наполеоновским размахом он готовился завоевать, в смысле науки, обе Америки. Что именно изучать, не важно: то, что еще неизвестно. В Америке этого добра хватает, насобирать открытий можно сколько угодно. Одна лишь загвоздка — найти спутника, который натаскает его до современного уровня науки, введет в курс. Это должен быть талантливый ученый, отважный, закаленный, чтоб хоть как-то соответствовал Наполеону... Такой, как Монж, но помоложе, сам Монж из-за ветхости не потянет.

Решено было оказать эту честь Араго. Разработана была финансовая часть предприятия. На деньги Наполеон не скупился. Естественно, за потерю работы и должности во Франции Араго будет щедро вознагражден. В любом случае он получит большую сумму. Будет закуплено лучшее оборудование, приборы астрономические, физические, метеорологические...

Монж воспринял этот план с энтузиазмом.

В своем рассказе Араго изо всех сил сдерживает иронию, сохраняя невозмутимость беспристрастного летописца.

Отказ Араго изумил Монжа. Как же так? Известно, что дружба великого человека — благодеяние богов. О чем еще можно мечтать — стать спутником Наполеона, удостоиться быть ему верным помощником, соучаствовать в его грандиозном замысле. Монж продолжал верить в звезду императора. Ореол божества еще сиял для него над челом Наполеона. Со всем красноречием Монж уговаривал Араго, не понимая, как можно уклониться от столь лестного предложения.

Это уже спустя десятилетия Араго иронизирует. В те дни замысел Наполеона не выглядел фантазией. Напо-

леону удавалось все. Поражение, разгром, Ватерлоо — не в счет. Побед было больше, чем поражений. Отречение? Ну что ж, однажды он уже отрекался. Чудо Ста дней смутило самые трезвые умы. Вслух уверяли друг друга, что дело императора проиграно, исторически обречено. Фурье не побоялся сказать это в лицо Наполеону. Однако втайне тот же Фурье побаивался — а вдруг... Не верили и верили. От Наполеона можно было ожидать чего угодно. Казалось, для него не существовало неодолимого. Снова, в который раз, все могло перевернуться.

Надо было иметь смелость отказать Наполеону. Он продолжал оставаться опасным.

Изо всех сил Араго пытался стряхнуть с себя гипнотическую силу этого человека, вернуться к действительности.

— Англичане и пруссаки подходят к столице! Франция гибнет!.. Как можно думать сейчас о путешествии на мыс Горн — доказывал он Монжу. — Это невысказано, Наполеону сменить оружие на барометр! В такую минуту! Когда надо защищать нашу независимость!

Насчет войны Наполеон знал побольше Араго, войну он проиграл до конца, до последнего шанса. Сидя в Мальмезоне, он нетерпеливо ждал известий от Монжа. Это была последняя ставка Наполеона, запасной сокровенный козырь его фортуны. Согласие Араго не вызывало сомнений. В глазах Наполеона он оставался тем самым обалделым, онемелым от восторга малым в новеньком зеленом мундире академика, замершим на воцелом паркете белого зала Тюильри...

Монж не терял надежды уломать своего ученика.

Никто из приближенных не понимал, почему Наполеон тянет, откладывает отъезд. Снова, не объясняя, приказывает распрягать лошадей. Дорог был каждый час. Два фрегата ждали его в порту Рошфор, готовые отправиться в Америку. День проходил за днем. Он подолгу стоял у окна. Подъезжали конники, кареты, и все было не то, не то... Наконец 28 июня Наполеон покинул Мальмезон и ехал не торопясь, словно ожидая кого-то. Утром 3 июля он прибыл в Рошфор. К этому времени английская эскадра блокировала гавань. Но еще можно было пробиться. Офицеры предложили вывезти его ночью на небольшом судне. Он отказался.

Момент катастрофы, крушения великого человека вызывает у потомков почему-то особый интерес. Биографы расплетают нить событий на волокна тончайшие, самые тончайшие. Любая нелогичность, любое нарушение структуры становится тайной. О странности этих решающих, трагических дней спотыкались почти все специалисты. Осторожные исследователи отмечают непонятную нерешительность Наполеона, никак не свойственную его натуре, военному опыту. Другие смелее: они догадываются, что Наполеон явно медлил с отъездом, как может медлить человек ожидающий... Чего? Научная добросовестность молча пожимает плечами.

На острове Святой Елены Наполеон в разговорах и воспоминаниях перебирал всю свою жизнь. Однако сколько-нибудь удовлетворительного объяснения своему поведению в последние дни свободы он так никогда и не дал.

Историку, вероятно, свидетельства Араго недостаточно. Не знаю, существуют ли другие подтверждения его рассказа. Да это и не так существенно, мне важна была не подлинность, а возможность.

По-видимому, можно найти доказательства, когда хотят, их находят, но зачем мне доказательства, я верю Араго, как верят правде; когда правде не верят, тогда ее начинают доказывать, и тогда уже говорят «я согласен», а не «я верю».

Рассказ Араго мог ускользнуть от внимания историков, затеряться; они из разных миров, эти два человека, не приходит в голову сопоставлять их интересы. Но стоило обнаружить их случайное скрещение, как сразу все сцепилось, выстроилось, и представилась утлая, отчаянная надежда Наполеона начать на новой земле новую жизнь, с иными радостями и ценностями. Может, впервые он пожалел о своем юношеском выборе. Ничего не осталось от его побед, от его империи. Все рассыпалось, как тлен, труха. Стоило ли тратить на это свой гений! Он мог стать великим ученым, таким же, как Лаплас, а может, и больше.

...Он обнял Араго. Наконец-то. Еще не поздно. Америка, экспедиции, лаборатории, не одна, не две, лучшие мастера, десятки ученых — все это скреплено именем Наполеона, его славой, его миллионами, его волей, его гением, ведь гений его в полной силе... Не правда ли?

— Не знаю, ваше величество,— уклончиво сказал Араго. — Я никогда не начинал сначала, я умею только продолжать.

Можно было счесть это дерзостью. Ничего не стоило приказать арестовать, связать этого человека, заставить его, припугнуть, да мало ли средств еще оставалось у низложенного императора! Отныне Наполеон был свободен от всяких обязательств. Но он был уверен, что Араго поймет, преисполнится. Ему давали славу — неслыханную славу помощника Наполеона, деньги, каких не имел ни один ученый, новую жизнь, полную приключений, открытий, власти — да, да, полнота научной власти над экспедициями, лабораториями...

— Ах, ваше величество, если б я не был занят! Види те ли, я сейчас выясню, какой поляризованный свет...

На какой-то миг перед Наполеоном словно приоткрылись пространства Вселенной, внутренняя сущность вещей, где колебались, расходились волны света, бесшумно мчались планеты, возникали заряды, поля; мир, который не подчинялся никаким императорам, который был неподвластен политике, силе, войнам, где царили иные, вечные нестареющие законы.

— ...Иногда я удивляюсь, ваше величество, чем заняты все остальные люди, если только они не изготавливают мне приборы и линзы,— Араго улыбнулся над собственным простодушием. Он хитрил, но он и не хитрил. — Почему вы не можете уехать сами, ваше величество?

Уехать самому? Но что такое он сам, не император, не полководец, просто господин Бонапарт, мистер Бонапарт, частное лицо... Вдруг предстать перед всеми обыкновенным человеком — толстенный, маленький, плохо воспитанный корсиканец. Лишенный министров, полиции, солдат — что же останется? Заурядная личность?

На него показывают пальцами, удивляются, разочарованно переглядываются. Его высказывания любой сможет счесть банальностью, над вкусом его можно будет безнаказанно смеяться. На Эльбе его защищал ореол узника, опасного пленника, его боялись, его сторожили. В Америке он будет никем, просто беглец.

Без миссии поездки в Америку становилась бегством. Бесславный побег ради спасения жизни. Нет, это не для

Наполеона. Он хотел оставаться Наполеоном, любой ценой, но Наполеоном.

Смешно, что судьба Наполеона ныне зависела от какого-то Араго, вернее, от увлечений этого Араго, от какой-то поляризации, линз...

Наполеон, привыкший повелевать народами, государствами, королями, должен был упрашивать, уговаривать этого человека, не имеющего ни власти, ни денег, ничего...

...Это я заставил Араго догнать Наполеона. Меня мучило отчаянье Монжа, холодная, черствая неуступчивость Араго, и даже уязвленное самолюбие Наполеона.

Я видел, что отказ Араго нанес последнюю рану, сквозь которую выходили энергия, предприимчивость...

На самом деле этой встречи не было, и разговора этого не было. Но мне хотелось, чтобы Араго согласился. Все-таки это был Наполеон. Рушилась грандиозная эпоха, и, кажется, если бы Араго решился, примчался в последнюю минуту в Рошфор, Наполеон воспрянул бы и не было бы острова Святой Елены и тихого, бесплодного угасания этого могучего духа.

Монж делал все, что мог. «Никогда любовь Монжа к Наполеону, — пишет Араго, — не обнаруживалась с такой силой, как в продолжение этих переговоров».

Араго не осуждал Монжа, противиться очарованию Наполеона умели немногие. (До конца своих дней Монж сохранял верность опальному другу. За это его исключили из Академии. Травить бонапартистов было выгодно и безопасно. Власти запретили участвовать в его похоронах. Араго выступал в защиту памяти Монжа. Он требовал уважения к Монжу за его верность. Араго не допускал мысли, что большой ученый может быть безнравственным человеком. Для него нет сомнений, что и Лавуазье казнен несправедливо — «он благороднейший гражданин и великий химик». Он обличает тех, кто казнил астронома Бальи. Они невиновны, жертвы тех кровавых лет, — и Ларошфуко, и Кондорсье, и Мольбер.)

Он уверен, что творческий гений и злодейство несовместны. Наука нравственна, и занятия наукой нравственны, они требуют бескорыстия, честности, товарищества.

И непреклонности...

Восьмого июля Наполеон поднялся на борт фрегата «Заале» и вышел в море, все еще собираясь

отправиться

в Америку. Он действовал как бы по инерции — пассивно и вяло. Его офицеры попросили англичан пропустить фрегат. Английский капитан сказал, что если Наполеон выедет в Америку, то нет гарантии, что он не вернется и не заставит Англию и Европу принести новые кровавые жертвы.

Капитан другого французского фрегата вызвался напасть на англичан, отвлечь их на себя, и тем временем «Заале» проскользнет, выйдет в океан. Это было в духе Наполеона, однако он не дал согласия. Он предпочел плен.

Ньютон однажды заметил: «Надобно чувствовать в себе силы, сравнивая себя с другими».

Нынешний Араго осмеливался сравнивать себя с Наполеоном. Не в смысле военном. Есть ученые, способные командовать армиями, но даже великий полководец не может стать ученым. Призвание к науке требует осуществить себя смолоду. Наполеон когда-то сделал свой выбор...

Теперь Араго вел собственное сражение с защитниками теории истечения света. Его соратник Френель получил законы новой волновой оптики. Давняя борьба перешла в решающую битву, впрочем, не известную никому, кроме десятка-другого умов, распаленных своими знаниями и заблуждениями. Не обращая внимания на европейские катастрофы, они напрягались ради новой, пока что безупречной истины. Только что Араго сумел поставить победный опыт, подтверждая формулы Френеля. Теперь они готовили следующий удар, желая установить законы интерференции поляризованных лучей. Речь шла о природе света — это было поважнее планов Наполеона и любых обещаний.

Предложение Наполеона никак не взволновало Араго.

Наука не прибежище для потерпевших неудачу монархов.

Спустя тридцать лет он вспомнил об этом эпизоде без всякого тщеславия, мимоходом, лишь в связи с Монжем.

Казалось бы, сама возможность такого поворота могла ему льстить. Шутка ли — уехать с Наполеоном в Америку, какие сюрпризы истории таились в этом варианте и для Араго, и для Франции, и вообще... Все зависело от него. А для него это был курьезный случай, не больше. Нечто несущественное в сравнении с тем, что

произошло дальше. А что же произошло?.. А ничего. Он остался в своей обсерватории. Он сделал десять, а может, двенадцать неплохих работ. Вот, пожалуй, и все, ничего больше.

Через два месяца император-победитель, вступивший в Париж Александр I, пригласил Араго переехать в Петербург работать в Академии наук. Александр искал славы просвещенного монарха. У Екатерины были Эйлер, братья Бернулли, у него будет Араго.

Узнав об этом, другой победитель, Фридрих, король прусский, пригласил Араго работать к себе в Берлин, пригласил сперва через Гумбольдта, а потом и сам явился в обсерваторию.

Араго даже не предложил ему сесть. Был солнечный день, и он торопился закончить опыт.

Он отказывал монархам быстро и небрежно. Ему было не до них. Он гонял луч света сквозь всякие пластинки, призмы, вертел его зеркалами, ломал, гасил... Его мучили загадки мерцания звезд. Он чувствовал себя волшебником, хозяином Вселенной. Он чувствовал себя ничтожеством перед неистощимым хитроумием природы...

...Но все это будет не скоро, через шесть лет. Пока что он стоит в зале Тюильри. Он впервые говорил с Наполеоном, то есть Наполеон говорил с ним и двинулся дальше, и за императором двинулись министры, маршалы, герцоги, уже прославленные навечно своими подвигами, изменами и милостями Наполеона. Казалось, не будет конца могуществу и счастью этого маленького, легко полнеющего человека. Араго смотрел ему вслед, слушал, как Наполеон отчитывает и поучает Ламарка. Старик плакал от унижения и обиды, на которую он не мог ответить. Араго запоминал каждое слово.

В такие моменты запоминается все, любая малость.

Ему было стыдно и грустно.

Великий Ламарк плакал перед этими князьями и генералами; Наполеон решал, быть ли ему, Араго, академиком. Расшитые зелеными ветвями мундиры академиков были для наполеоновских придворных ливреями, и они были правы — это были ливреи. Они считали, что

это им, для них Араго тащил свою рукопись. Вот он, финиш скитаний и всех его злоключений.

Но почему, по какому праву они были высшими судьями — миловали и казнили? Кто из них понимал, что такое Ламарк? И что такое путь меридиана?

Не проще ли быть с ними, тоже вершить суд... Или с этими, в зеленых ливреях? Такова цена за науку. Он презирал и жалел своих наставников и учителей и жалел себя за то, что он был не лучше, ему тоже хотелось, чтобы Наполеон поблагодарил его: «Вы молодец, Араго, родина не забудет вас». Он жаждал похвал, он ведь шел сюда и за этим. Отныне его место здесь, в этой шеренге склоненных и ждущих милости. Весь его путь сквозь Испанию, Африку приводит, оказывается, в эту шеренгу. За все надо платить, и за прямоту пути тоже, выходит, надо расплачиваться молчанием или поклоном.

Сидя в тюрьме, попрошайничая на улицах Паламоса, он был свободней, чем здесь, где надо притворяться, выслушивать поучения, терпеть, унижаться... Чего ради? Только для того, чтобы делать свое дело, чтобы иметь возможность осуществить себя, остаться самим собой, чтобы остаться... Если б он хотя бы знал, что у него получится, сколько он сделает в электричестве, в оптике, в метеорологии, ему было бы легче, все было бы легче, все было бы оправданно...

Никто и ничего не мог ему подсказать, облегчить этих минут.

Это как мистика — вжиться в судьбу давно ушедшего человека, очутиться вместе с ним в каком-то часе его жизни, он-то и знать не знает, что будет дальше, а мы уже знаем все, до последнего его дня и после смерти, что будет с его книгами, с разными его теориями, какие он совершит ошибки, что будет с Наполеоном, что произойдет от этой встречи, что будет с этой юношеской обидой на то, что Наполеон никак не отметил, не увидел, не сказал...

И слава богу, что ничего не сказал! Отныне Араго был свободен. Больше он не будет нуждаться в этом, в этих наивных иллюзиях молодости. Молодость его кончилась. Иные судьи, иные боги, иные награды ждали его.

1971